

Виктор

ПЕЛЕВИН

МАКЕДОНСКАЯ КРУПКА
ФРАНЦУЗСКОЙ МЫСЛИ



В сборник вошли произведения:

- " Македонская критика французской мысли
 - " День бульдозериста
 - " Музыка со столба
 - " Откровение Крегера (Комплект документов)
 - " Оружие возмездия
 - " Реконструктор (Об исследованиях П.Стецюка)
 - " Хрустальный мир
 - " Происхождение видов
 - " Бубен верхнего мира
 - " Иван Кублаханов
 - " Бубен нижнего мира
 - " Тарзанка
 - " Ника
-

Македонская критика французской мысли

Любая концепция формирует основу для дуалистического состояния ума, а это создает дальнейшую сансару.

Тулку Ургьен Ринпоче

Во всей вселенной пахнет нефтью.

Вильям Джеймс

По социальному статусу Насых Нафиков, известный друзьям и Интерполу как Кика, был типичным «новым русским» эпохи первоначального накопления кармы. По национальности он, правда, не был русским, но назвать его «новым татаринном» как-то не поворачивается язык. Поэтому лучше обойдемся без ярлыков и просто расскажем его жуткую и фантазмагорическую историю, которая заставила некоторых впечатлительных людей, знакомых с делом по таблоидам, окрестить его Жиль де Рецем нашего времени.

Нафиков родился в Казани, но вырос в Европе. Его ранние дни – время, когда формируется скелет личности, – проходили сначала в англоязычных садиках, а затем в космополитических школах для детей дипломатов. Кика на всю жизнь запомнил стишок, висевший в одном из таких заведений над умывальником:

We condemn in strongest terms
Dirty nails that harbour germs!

Неподконтрольные родителям впечатления детства сформировали Кику скорее европейцем, чем «евразийцем», как называл себя его отец, очень любивший этот термин и часто примерявший его на сына. Сыну же это дикое слово казалось обозначением человека, который, будучи в ударе, может сойти за азиата в Европе и за европейца в Азии. Сама же Евразия, о которой часто рассуждал отец, представлялась ему чем-то вроде виртуальной Атлантиды, утонувшей в портвейне задолго до его появления на свет.

В момент рождения сына Насратуллы Нафиков был крупным партийным бонзой в Татарстане; в момент своей смерти – нефтяным магнатом, успешно обменивавшим партийную ренту на природную. Он слег от удара, узнав о правительственном решении то ли сократить какие-то квоты, то ли поднять какие-то отчисления. Но ему не дали умереть своей смертью – прямо в палате больницы его добил снайпер. Шептались, что это был сам Александр Солоник, прозванный Шурой Македонским за свой необыкновенный талант к стрельбе по-македонски – с двух рук не целясь. Загуляв и поистратившись в Казани, он якобы взял халтурку, чтобы поправить дела. В пользу этой версии говорило то, что на чердаке соседнего с больницей дома нашли бельгийскую винтовку калибра 5,45, той самой модели, на которой знаменитый художник-ликвидатор всегда останавливал свой выбор в подобных обстоятельствах. Против нее говорило то, что Солоника убили в Афинах задолго до описываемых событий. Стоит ли говорить, что именно по последней причине народ в эту версию верил.

Кика Нафиков плохо понимал в российских реалиях и не до конца уяснил, что явилось настоящей причиной трагедии. По настоянию отца он изучал философию в Сорбонне, но имел и некоторую экономическую подготовку. Он мог разобраться во всем, касающемся отчислений и

квот. Но, как объяснил печальный гонец с родины, причина на самом деле была в том, что отец «взял за яйца серую лошадку», чего делать не следовало, поскольку «крыша в углу кусается». Кика, пораженный колдовской силой русского языка, который он знал немного хуже английского с французским, не стал углубляться в подробности.

Нафикова-старшего многие жалели: при всей своей деловой оборотистости он был хорошим человеком – одним из тех странных советских идеалистов, причина появления которых в СССР навеки останется загадкой мироздания.

Смерть отца, которая совпала с завершением образования, сделала Нафикова-младшего богатым человеком – очень богатым, по меркам любой страны. Поколесив по Европе, Кика осел во Франции, на Кап Ферра, где покойный евразиец еще в советские времена ухитрился каким-то образом заевразировать небольшую виллу. Постройка в стиле «пуэбло» была кубом песчаного цвета с прозрачной крышей – она выглядела бы уместней где-нибудь в Альбукерки, Нью-Мексико. Высокая ограда скрывала ее от нескромных взглядов, и видна она была только со стороны моря. Семь бронзовых слоников работы Церетели, которых Нафиков-старший в ельцинскую эпоху установил на спуске к воде (самый большой весил столько же, сколько танк «тигр», это Кика помнил с детства), были утоплены в Средиземном море командой рабочих, получившей от сына щедрое вознаграждение за работу в ночное время. Дело было не в Кикином равнодушии к искусству. Он подозревал, что эти зверюшки были для отца чем-то вроде противотанковых ежей, призванных защитить от натиска реальности. Тем серьезней был повод уволить их за профнепригодность.

Трудно сказать наверняка, когда началась душевная болезнь Кики. Слухи о том, что он тронулся головой, впервые пошли из-за новшества, которое он ввел на своей вилле. В каждой комнате, даже в небольшом спортзале с покрытым пылью универсальным тренажером, похожим на уэллсовского марсианина, было установлено по телевизору, с утра до вечера крутившему детский канал немецкого телевидения «Кика», передававший в основном мультфильмы. Никаких других программ телевизоры не показывали. Многие считали, что именно этой странности Кика и обязан своим прозвищем.

Нафиков-младший не знал немецкого языка, и в подвальной комнатке было оборудовано место для синхрониста, который непрерывно переводил все, что показывал телеканал. К концу дня синхронист уставал и начинал сбиваться, но Кика не расстраивался по этому поводу, потому что ошибки иногда выходили смешными. Вскоре, однако, пришлось нанять второго переводчика и разбить вахту на две смены, потому что один синхронист не справлялся. Тогда приятель Кики придумал угощать переводчиков какими-то амстердамскими таблетками, вызывавшими у них путаницу в мыслях и сбивчиво-бредовое многословие. Перевод стал выходить очень потешным, и к Кике стали специально ездить в гости на этот номер. Синхронисты поняли, что от них требуется, и, выторговав прибавку за вредность производства, смирились. Обкуренные гости Кики называли одного синхрониста Урим, а другого Туммим – по аналогии с небесными камнями-переводчиками из мормонской библии.

По другим сведениям, прозвище «Кика» появилось у Нафикова значительно раньше, еще во время изучения философии в Париже. Эту кличку якобы дал ему научный руководитель, полагавший, что подлинное понимание философии пробуждается в ученике только тогда, когда он беззаветно принимает в себя пламя, пылающее в наставнике. Конкретная технология передачи священного огня показалась пришельцу из российской глубинки несколько неожиданной, но стремление к утонченному европейскому идеалу оказалось сильнее смущения и стыда. Так, во всяком случае, вспоминал Зураб (Зизи) Мердашвили, покойный философ, вместе с которым Нафиков обучался *любомудрию* (в сочинении, о котором пойдет речь ниже, Кика возводит этимологию этого термина не к выражению «любовь к мудрости», а к словам

«любой мудака»).

Воспоминания покойного Зизи, нигде не задокументированные и дошедшие до нас только в устном пересказе, – слишком зыбкая опора для утверждений, которые могут иметь юридические последствия. Поэтому не будем называть профессора, у которого обучался Кика. Он еще жив, и его громкое имя известно не только в профессиональных кругах. Ограничимся намеком: речь идет о философе, которого в последние годы позиционируют в качестве секс-символа мыслящей французской женщины от сорока пяти до шестидесяти лет.

Повторим – мы не можем утверждать, что однокурсник Нафикова говорил правду. Но трудно не заметить, что его слова объясняют многое – и привязанность к телеканалу «Кика», и болезненную, с четким знаком «минус», одержимость Нафикова французской философией, обличение которой стало главной страстью его жизни. Хочется добавить: все это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Но перед тем как перейти к страшной части этой истории, закончим со смешной – потому что одно перетекает здесь в другое постепенно и незаметно.

Кика полагал себя мыслителем, намного превзошедшим своих французских учителей. Это видно уже из названий его первых сочинений: «Где облажался Бодрияр», «Деррида из пруда» и тому подобное. Сказать что-нибудь по поводу этих текстов трудно – неподготовленному человеку они так же малопонятны, как и разбираемые в них сочинения великих французов. Отзывы же людей подготовленных туманны и многословны; напрашивается вывод, что без сорбоннского профессора с его инъекцией священного огня невозможно не только понять что-нибудь в сочинениях Нафикова, но даже и оценить их профессиональный уровень. «Гениальный недоумок», «звездное убожество» и прочие уклончивые эпитеты, которыми Нафикова награждали привлеченные Интерполом эксперты, не только не помогли следствию, а наоборот, совершенно его запутали, создав ощущение, что современные философы – это подобие международной банды цыган-конокрадов, которые при любой возможности с гиканьем угоняют в темноту последние остатки простоты и здравого смысла.

Название самой известной работы Кики – «Македонская критика французской мысли», – несомненно, отражает его семейную драму и намекает на Сашу Македонского, легендарного убийцу Нафикова-старшего. Это сочинение, которое становится по очереди воспоминаниями о детстве, интимным дневником, философским трактатом и техническим описанием, – странная смесь перетекающих друг в друга слоев текста, с первого взгляда никак не связанных друг с другом. Только при внимательном прочтении становится видна кошмарная логика автора и появляется возможность заглянуть в его внутреннее измерение – возможность уникальная, поскольку маньяки редко оставляют нам отчет о ходе своих мыслей.

Философская часть «Македонской критики» – это попытка низвергнуть с пьедестала величайших французских мыслителей прошлого века. Мишель Фуко, Жак Деррида, Жак Лакан и так далее – не обойдено ни одно из громких имен. Названием работа обязана методу, которым пользуется Кика, – это как бы стрельба с двух рук, не целясь, о чем он говорит в коротком предисловии сам. Достигается это оригинальным способом: Кика имперсонерирует невежду, никогда в жизни не читавшего этих философов, а только слышавшего несколько цитат и терминов из их работ. По его мысли, даже обрывков услышанного достаточно, чтобы показать полную никчемность великих французов, и нет нужды обращаться к оригиналам их текстов, тем более что в них, как выражается Кика, «тупой ум утонет, как утюг в океане г-на, а острый утонет, как дамасский клинок».

При этом Кика стремится сделать свой пасквиль максимально научнообразным и точным, уснащая его цитатами и даже расчетными формулами. Подход был бы, возможно, интересен, если бы критик-невежда, которым притворяется Кика, не был таким отчетливым французским

философом. Увы, неподготовленный читатель при знакомстве с философскими пассажами «Македонской критики» неизбежно почувствует себя чем-то вроде утюга в ситуации, упомянутой Нафиковым. Все претензии, которые Кика предъявляет французам, могут быть точно так же обращены к нему самому.

Вот, например, как он сравнивает двух философов, Бодриера и Дерриду:

«Что касается Жана Бодриера, то в его сочинениях можно поменять все утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. Кроме того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по значению, и опять без всяких последствий. И даже больше: можно проделать эти операции одновременно, в любой последовательности или даже несколько раз подряд, и читатель опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий интеллеktуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. Если у Бодриера все же можно поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве случаев невозможно изменить смысл предложения никакими операциями».

Бросается в глаза, что особое раздражение Кики во всех случаях вызывает Жан Бодриер, часто называемый «Бодриером» – по аналогии с термином «симулякр» (которым Кика чудовищно злоупотребляет в «Македонской критике», оговариваясь, правда, следующим образом: «Читатель понимает, что слово «симулякр», как его употребляю я, есть всего лишь симулякр бодриеровского термина «симулякр»). Раздражение легко объяснить – именно Бодриер стоял у истоков открытия, которое сделало Кикю преступником, но, как он полагал, поставило далеко впереди всех современных мыслителей.

Ненависть Нафикова к Бодриеру – это интеллектуальный эдипов комплекс. Он проявляется в желании уничтожить идейного предшественника, магически перенеся на него судьбу отца, испытавшего на себе всю мощь македонской критики. Дерриде с Соссюром пришлось отдуваться просто за компанию. Но здесь от смешного мы начинаем переходить к страшному.

Расколошматив своих идейных наставников из двух стволов, Кика задумчиво вопрошает: почему вообще существует французская философия? Его ответ таков – это интеллектуальная погрешка, оплачиваемая транснациональным капиталом исключительно для того, чтобы отвлечь внимание элиты человечества от страшного и позорного секрета цивилизации.

Кика полагал, что был первым, кто увидел этот секрет во всей его жуткой простоте. Зародыш, из которого родилась его мания, мирно дремал в книге Бодриера «Символический обмен и смерть». Мы приведем эти роковые слова чуть позже: чтобы понять реакцию, которую они вызвали в Кике, надо представить себе гремучую смесь, находившуюся в его сознании к этому моменту. Сделать это несложно – в «Македонской критике» он уделяет воспоминаниям много места, предвкушая, видимо, внимание историков.

Начинает он с рассказа о том, какую роль сыграла в его жизни нефть. Еще мальчиком он понял, насколько от нее зависит благосостояние семьи, – и отреагировал по-детски непосредственно. На стене кабинета Нафикова-старшего долгие годы висел рисунок сынишки: некто зловещего вида, похожий не то на Синюю Бороду, не то на Карабаса-Барабаса, держит над запрокинутым лицом круглый сосуд с контурами материков, из которого в рот ему льется тонкая черная струйка. Снизу разноцветными шатающимися буквами было написано: «ПАПА ПЬЕТ КРОВЬ ЗЕМЛИ». Рядом висел другой интересный рисунок – сделанный из замерзшей нефти снеговик с головой Ленина (из-за того, что усы и борода Ильича были нарисованы белым по черному, снеговик больше походил на Кофи Аннана). Под снеговиком был стишок, написанный мамой:

Что за черный капитал

Все собою пропитал?
Он смешную кепку носит,
Букву «Р» не произносит!

Став постарше, Кика набросился на книги. Из многочисленных детских энциклопедий, которые покупал отец, выяснилось, что нефть – это не кровь земли, как он наивно полагал, а что-то вроде горючего перегноя, который образовался из живых организмов, в глубокой древности населявших планету. Он был потрясен, узнав, что динозавры, которых, как кажется, может воскресить только компьютерная анимация, не исчезли без следа, а существуют и в наше время – в виде густой и пахучей черной жидкости, которую добывает из-под земли его отец. Когда его впервые посетила эта мысль, он спросил отца: «Папа, а сколько динозавров съедает в час наша машина?» Эти слова, показавшиеся отцу ребячьим бредом, имели, как мы видим, достаточно серьезную подоплеку.

Естественно, маленького Кику интересовала не только нефть. Как и другие дети, он задавался великими вопросами, на которые не знает ответа никто из взрослых. Отец отвечал как мог, со стыдом чувствуя, что ничего не понимает про мир, в котором зарабатывает такие огромные деньги, – словом, все было как в обычной семье. Однажды Кика спросил, куда деваются люди после смерти.

Это случилось в промежутке между двумя загранпоездками; Кика временно ходил в казанский садик, где сидел на горшке рядом с внуком идеологического секретаря национальной компартии. Нафиков-старший, взобравшийся на вершину жизненного Олимпа исключительно благодаря своей интуиции, сделал стойку. Чутье подсказало ему, что надо быть очень и очень осторожным: именно из-за подобных мелочей бесславно завершилось множество карьер. Сославшись на головную боль, он велел Кике отстать, а сам попросил помощника срочно подготовить по этому вопросу взвешенную справку, в которой будет максимально внятно отражено все то, что говорит по этому поводу официальная идеология.

На следующий день потрясенный Кика узнал, что после смерти советский человек живет в плодах своих дел. Это знание вдохновило мальчика на новую серию жутковатых рисунков: подъемные краны, составленные из сотен схватившихся друг за друга рук; поезда, словно сороконожки, передвигающиеся на множестве растущих из вагонов ног; реактивные самолеты, из дюз которых смотрят пламенные глаза генерального конструктора, и так далее. Интересно, что всем этим машинам, даже самолетам, Кика подрисовывал рот, в который маршировали шеренги крохотных динозавров, похожих на черных оципанных кур.

Если у Кики и состоялся обмен метафизическим опытом с соседями по горшку, он закончился без вреда для отцовской карьеры. Но объяснение тайны советского послесмертия засело в сознании ребенка так глубоко, что стало, можно сказать, фундаментом его формирующегося мировоззрения. Естественно, что эта тема вскоре оказалась в тени других детских интересов. Но через много лет, когда выросший Кика уже изучал философию в Сорбонне, началась российская приватизация, и прежний вопрос поднялся из темных глубин его ума.

Допустим, советские люди жили после смерти в плодах своих дел. Но куда, спрашивается, девались строители развитого социализма, когда эти плоды были обналичены по льготному курсу группой товарищей по удаче? То, что в эту группу входил его отец, делало проблему еще более мучительной, потому что она становилась личной. Где они теперь, веселые строители Магнитки и Комсомольска, отважные первопроходцы космоса и целины, суровые покорители Гулага и Арктики?

Ответ, что созданное их трудом сгнило и пропало, не устраивал Кику – он знал, что вещи переходят друг в друга, подобно тому, как родители продолжают себя в детях: детали нового станка вытачивают на старом, а сталь переплавляется в сталь. Другой расхожий ответ – что все, мол, разворовано, продано и вывезено – был одинаково непродуктивен. Кику волновал не уголовно-имущественный, а философско-метафизический аспект вопроса. Можно было месяцами изучать бизнес-схемы и маршруты перетекания капитала, можно было наизусть заучить биографии олигархов – и декоративных, которые у всех на виду, и настоящих, о которых мало что знает доверчивый обыватель, – но от этого не делалось яснее, куда отправились миллионы поверивших в коммунизм душ после закрытия советского проекта. Этот вопрос ржавым гвоздем засел в сознании Кики и долгие годы ждал своего часа.

Однажды этот час пробил.

Предоставим слово Кике и «Македонской критике»:

«Был обычный осенний полдень, ясный и тихий. Я сидел у телевизора с книжкой; кажется, это был «Символический обмен и смерть» чудовищного Бодриера. На экране мелькал какой-то мультфильм, за которым я следил краем глаза: пират в треуголке, радостно хохоча, танцевал вокруг сундука с сокровищами, время от времени нагибаясь над ним, чтобы запустить руки в кучу золотых пиастров... И вдруг крышка сундука обрушилась вниз, вычеканив из его головы монету вроде тех, что лежали внутри. Монета была еще живой – профиль на ней яростно моргал единственным сохранившимся глазом, но рот, похоже, склеился навсегда. Туммим, который в этот момент был на пике прихода, прекратил хихикать (таким образом он переводил смех пирата) и спросил непонятно кого – надо полагать, меня, потому что, кроме нас и охраны, на вилле никого не было:

– Интересно, а остальные монеты... Они что, типа тоже из голов, да? Типа другие пираты подходили, открывали, потом бам, и все, да? И за несколько веков, значит, набежал целый сундук...

Мой взгляд упал на страницу и выхватил из путаницы невнятных смыслов странное словосочетание: «работник, умерший в капитале». И тайна денег в одну секунду сделалась ясна, как небо за окном».

Попробуем коротко изложить то, что Кика называл «тайной денег». Деньги, по его мнению, и есть остающаяся от людей «нефть», та форма, в которой их вложенная в труд жизненная сила существует после смерти. Денег в мире становится все больше, потому что все больше жизней втекает в этот резервуар. Отсюда Кика делает впечатляющий вывод: мировая финансовая клика, манипулирующая денежными потоками, контролирует души мертвых, как египетские маги в фильме «Мумия возвращается» с помощью чар управляют армией Анубиса (внимательный читатель «Македонской критики» заметит, что Кика чувствует себя немного увереннее, когда оперирует не категориями философии, а примерами из кинематографа).

Здесь и кроется разгадка посмертного исчезновения советского народа. Плезиозавр, плескавшийся в море там, где ныне раскинулась Аравийская пустыня, сгорает в моторе японской «Хонды». Жизнь шахтера-стахановца тикает в бриллиантовых часах «Картье» или пенится в бутылке «Дом Периньон», распиваемой на Рублевском шоссе. Дальше следует еще более залихватский вираж: по мнению Кики, задачей Гулага было создать альтернативный резервуар жизненной силы, никак не сообщающийся с тем, который контролировали финансовые воротилы Запада. Победа коммунизма должна была произойти тогда, когда количество коммунистической «человеконефти», насильно экстрагированной из людей, превысит запасы посмертной жизненной силы, находящейся в распоряжении Запада. Это и скрывалось за задачей «победить капитализм в экономическом единоросте». Коммунистическая человеконефть не была просто деньгами, хотя могла выполнять и эту

функцию. По своей природе она была ближе к полной страдания воле, выделенной в чистом виде. Однако произошло немыслимое: после того как система обрушилась, советскую человеконефть стали перекачивать на Запад.

«По своей природе процесс, известный как «вывоз капитала», – пишет Кика, – это не что иное, как слив inferнальных энергий бывшего Советского Союза прямо в мировые резервуары, где хранится жизненная сила рыночных демократий. Боюсь, что никто даже не представляет себе всей опасности, которую таит происходящее для древней западной цивилизации и культуры».

Эта опасность связана с тем, что Кика называет «Серным фактором». Название взято им из нефтяного бизнеса. Знание технологических аспектов нефтяного дела, которое он обнаруживает в своих выкладках, неудивительно – надо полагать, об этих вопросах Нафиковы говорили за утренним чаем, так же, как в других семьях беседуют о футболе и погоде. Просим прощения, если некоторые понятия, которыми оперирует Кика, покажутся слишком специальными, но цитата поможет лучше представить себе безумную логику «Македонской критики».

«Если полстакана «Red Label» смешать с полстаканом «Black Label», – пишет Нафиков, – получившееся виски будет лучше первого, но хуже второго. С нефтью то же самое. Продукт под названием «Urals», который продает Россия, – это не один сорт, а смесь множества разных по составу нефтей, закачиваемых в одну трубу. При этом происходит усреднение качества. Поэтому те поставщики, нефть которых выше сортом и содержит меньше серы, получают компенсацию. Это так называемый Серный фактор, рассчитываемый по формуле:

$$C_f = 3,68 (s_2 - s_1) \text{ долларов за тонну}$$

Здесь s_2 – коэффициент, отражающий среднее содержание серы в смеси, а s_1 – ее содержание в нефти более высокого качества. Тот же принцип пересчета действует для североморской нефти Brent, сахарской смеси Saharan Blend, Arabian Light и так далее. Все это – коктейли из множества ингредиентов, которые значительно отличаются друг от друга. Символично, однако, что в нефти Urals значительно больше серы по сравнению с другими марками – что поэтически точно отражает специфику ее добычи и многие аспекты связанной с ней деятельности. Каждый, кто знаком с российским нефтяным бизнесом, знает этот незабываемый привкус Серного фактора во всем – от первой утренней чашки кофе до последнего ночного кошмара. И чем ближе к трубе, тем сильнее пахнет серой. Отсюда и этот характерный для российской нефтяной элиты «бурильный» взгляд – как на последних фотографиях Бодрияра.

Раз уж речь зашла о Бодрияре. Вот кого можно назвать *серным кардиналом* французской мысли...»

И пошло и поехало. Если в построении «Македонской критики» проглядывает какой-то принцип, он только в подобных прыжках от предмета к предмету. Забыв на время про нефть (а через абзац – и про Бодрияра), Кика устраивает блицпогром в лагере всего того, что он называет «концептуальным языкоблудием».

Он по-быстрому строит всех французских мыслителей в две шеренги, применяя принцип, который без ложной скромности называет «Бритва Нафикова».

В первую шеренгу попадают те, кто занят анализом слов; их Кика называет «лингвистическими философами». По его мысли, они похожи на эксгибиционистов, так глубоко нырнувших в свой порок, что им удалось извратить даже само извращение: «Дождавшись одинокого читателя, они распахивают перед ним свои одежды, но вместо срама, обещанного похотливым блеском их глаз, мы видим лишь маечку с вышитым словом «х-й».

Во вторую шеренгу попадают «нелингвистические философы», то есть те, кто пытается заниматься чем-то еще, кроме анализа слов. Чтобы приведенная аналогия распространялась и на них, пишет Кика, достаточно представить, что «наш эксгибиционист является переодетой женщиной – и не просто женщиной, а девственницей, так и не научившейся прятать под непристойным словом на упругой груди свою веру в то, что детей находят в капусте».

Такая рельефная образность могла бы сделать честь нашему антигерою, если бы не информация Зизи Мердашвили, что Кику по этому вопросу консультировал другой парижский профессор, называть которого мы не будем по той же причине, что и первого: вряд ли кто-то захочет признать, что питал извращенный ум маньяка концепциями и силлогизмами. Намекнем, однако, что во втором случае речь идет о философе, которого позиционируют как символ всепобеждающего интеллекта на духовном горизонте француженки старше тридцати пяти, ведущей активную половую жизнь.

Трудно сказать, что именно Кика заимствовал у других, а до чего дошел сам. Но одну мысль из посвященной «концептуальному языкоблудию» части можно смело приписать лично ему безо всякого риска ошибиться. Вот она:

«Французы напрасно думают, что это они изобрели «деконструкцию». Еще мальчиком в Казани я знал, что это такое, как знало до меня несколько поколений казанской урлы. Деррида просто перевел на французский татарское слово «разборка», и все. Но если лингвистическая школа попробует вякнуть, что все сводится к словам, я скажу.. Я скажу.. Не дождетесь, чтобы Кика начал разборку. Кика лучше сделает деконструкцию. Он молча укажет пальцем на вашу маечку, забудет про вас навсегда и пойдет в каморку к Уриму и Туммиму на косячок амстердамской призовой». (В одном из вариантов «Македонской критики» вместо «разборка» стоит «перестройка».)

И так далее. Когда Кика наконец возвращается к вывозу капитала и Серному фактору, редкий читатель еще помнит, что это такое. Но Кика чувствует себя непринужденно, словно и не отходил от темы:

«Если в трубу, занятую Западно-Техасской Кислой (WTS), начнет вдруг поступать смесь Urals с высоким серным фактором, перерабатывающие заводы получают сырье совершенно другого состава, для которого окажутся неверны все прежние технологические расчеты. Это поймет даже дурак. Но почему-то принято думать, что тридцать миллиардов долларов, которые каждый год вывозились из России, могут незаметно слиться с западным капиталом. Считается, что жизненная сила при трансфере полностью обезличивается, и деньги, выкачанные из России, ничем не отличаются от денег из военного бюджета Пентагона, личного состояния Билла Гейтса или внешнего долга Бразилии. Между тем сущности, о которых идет речь, настолько разнятся по своей природе, что их ни в коем случае нельзя смешивать, как нельзя это делать с Urals и Западно-Техасской Кислой».

Чуть дальше Кика делает очень интересное наблюдение:

«Кстати сказать, существует два сорта нефти, которые добываются в разных точках земного шара, но могут замещать друг друга, поскольку практически не отличаются по качеству и имеют один и тот же Серный фактор. Жуткий и многозначительный символизм: речь идет о российской смеси Urals и иракской нефти Kirkuk. О Саддам! О Иосиф! Oh Ge-orge!»

В этом разделе Кика, не проявлявший интереса к духовным учениям и числившийся приверженцем ислама только номинально, вплотную приблизился к пониманию того, что самые продвинутые из мусульман называют кармой. Его мысль такова: особенности земного существования душ, превратившихся после смерти в деньги, отбрасывают тень на жизнь общества, пользующегося этими деньгами. Больше того, такая тень становится своего рода лекалом, по которому новые поколения «делают жизнь», даже не догадываясь о том, что именно

служит им образцом, хотя постоянно держат этот «образец» в руках в самом прямом смысле. На предсознательном уровне догадки об этом возможны: именно этим объясняется иррациональное на первый взгляд стремление Британии сохранить фунт стерлингов (и весь связанный с ним загробный пантеон империи) после того, как объективные экономические причины для этого исчезли.

«Эхо прошлого, – пишет Кика, – наступает нас на пустыре духа в сумерках истории. Прошлое остается с нами, несмотря на попытки начать все заново, – и всегда оказывается сильнее. Мы не можем ни спрятаться, ни увернуться. Мы даже не в состоянии понять, как именно оно становится будущим. Лист доисторического дерева, отпечатавшийся на угольном сколе, различим в мельчайших деталях, хотя про него нельзя сказать, что он существует: никто не может взять его в руку или заложить между книжных страниц. Но его можно скопировать и даже сделать эмблемой на флаге вроде канадского. Точно так же отзвук прошлого, о котором мы говорим, нематериален и неуловим – но определяет все то, что случится с нами и нашими детьми».

Никаких детей у Кики, кстати, не было.

Что происходит, когда миллионы советских человекоидней конвертируются в доллары и евро? По мысли Кики, это равносильно неощутимому и потому особо страшному вторжению армии голодных духов в кровеносную систему международной экономики – но чтобы увидеть это, нужны не придурковатые финансовые аналитики, которые не умеют предсказать рецессию даже через год после того, как она началась, а духовидец наподобие Сведенборга. Читатель, видимо, уже догадался, что таким духовидцем Кика полагает себя.

«Человек, наделенный способностью к духовному зрению, увидит гулаговских зэков в рваных ватниках, которые катят свои тачки по деловым кварталам мировых столиц и беззубо скалятся из витрин дорогих магазинов, – пишет он. – Смешение жизненной энергии двух бывших антиподов мироздания – безответственная и безумная акция, которая изменит лицо мира. Кризис, поразивший наиболее продвинутые экономики, и агрессивная военная паранойя их лидеров – только первое следствие этого эксперимента. Все беды, которые обрушились на западную цивилизацию в начале нового тысячелетия, объясняются тем, что Серный фактор западной жизни стал значительно выше».

В России, по его мнению, происходит обратный процесс – экономическая катастрофа и обнищание сопровождаются не демонстрациями и баррикадными боями, как ожидали социологи, а все большей эйфорией и влюбленностью населения в руководство, ведущее народ от одного оврага к другому – поскольку долларизация страны, сопровождающая это веселое путешествие, снижает Серный фактор, и общая инфернальность русской жизни падает.

«Увы, – констатирует Кика, – международные финансовые хищники просчитались – вместо крови они высосали из России весь многовековой ядовитый гной, который теперь безуспешно пытаются переварить».

Это «увы» очень характерно. Многие западные таблоиды, в особенности французские, изображали Кику эдаким «мстителем за Россию», который сводил счеты с воображаемыми виновниками бед своей страны. Ничего не может быть дальше от истины, чем эта точка зрения. «Доказательства», которые приводят журналисты, смехотворны. Например, часто повторяется цитата, где Кика называет Францию «прекрасной скупщицей краденого». Но это вовсе не выражение презрения или ненависти. Напротив, это признание в любви. В кругу, где Кика рос и формировался, никто не стал бы использовать слова «скупщик краденого» в качестве оскорбления, как не стали бы этого делать сбытчики краденого. То же относится и к другим сентенциям Кики, которые выхвачены из контекста и изображают его совсем не тем, чем он был.

Например, утверждают, что Кика называл Серным фактором поток несчастий, поразивший семьи олигархов, которые захватили созданные Гулагом богатства. Но во всей «Македонской критике» лишь одна строчка дает повод для такого толкования:

«Предсмертное проклятие сталинских рабов не растворилось бесследно в морозном воздухе Сибири – отразившись в небесных зеркалах, оно нашло себе новых адресатов».

Серный фактор, про который Кика говорит в другом месте и по другому поводу, здесь ни при чем.

Глупо приписывать Кике антибуржуазный пафос, как это делают журналисты, мужественно поднимающие свой голос в защиту капитализма. Кика действительно приступил к осуществлению своего зловещего плана сразу после того, как посетил показ коллекции модельера Джона Галиано, где на подиум падал дождь из лепестков золотой фольги. Этот золотой дождь, к образу которого он возвращается несколько раз, стал для него окончательной метафорой человеконепити – жизненной силы мертвых, воплотившейся в деньгах. Но Кикой управляло вовсе не «омерзение к извращенцам, устраивающим похабные танцы под дождем из перебродившей крови», как писал один излишне пронизательный московский обозреватель, путающий собственные чувства с чужими. Наоборот, им двигало стремление защитить хрупкую и утонченную европейскую культуру от опасности, которая, как он полагал, была видна ему одному.

Кика никогда не считал себя левым или правым и не отождествлял себя с какой-либо нацией. Что касается политических взглядов, то их у него просто не было. Он называл себя «мыслящим патриотом» – то есть таким, чей патриотизм распространяется на все места, где тепло и солнечно («история России показала, – писал Кика, – что люди, публично исповедующие иную точку зрения, как правило, просто лжецы, пробирающиеся в теплые и солнечные места окольным путем, причиняя при этом неисчислимые страдания ближним»). Дитя Европы, он имел, если так можно выразиться, среднюю для евротрубы identity,^[2] составленную из обрывков телепередач, комиксов и рекламных клипов, поглощенных им в разных европейских столицах. Вот как он говорит сам:

«Если сравнивать мою душу со зданием, то в ее стены легло лишь несколько вывезенных из России булыжников, которые из орудия пролетариата давно превратились во что-то вроде гадательных камней (мои внутренние Урим и Туммим), которые не делают меня врагом западных ценностей – я люблю секс и деньги и не стыжусь в этом признаться, – но позволяют мне видеть то, чего не понимают наивные и доверчивые европейцы».

Вряд ли разумно объяснять действия Кики и сексуальными проблемами. Эта точка зрения опирается главным образом на то, что Кика заменяет все непристойные термины сокращениями с прочерком – по мысли некоторых склонных к психоанализу авторов, это отражает его половую несостоятельность. Но Кика проделывает ту же операцию и со словом «б-г», беря пример с еврейских священных текстов. Чем это вызвано – стремлением к особо изощренному богохульству или простым оригинальничаньем, – сказать сложно, и вопрос остается открытым. Вот как, например, выглядит пассаж, посвященный писателю Мишелю Уэльбеку, которого Кика причислил к ведомству современной французской мысли:

«Уэльбек, этот живой французский ум, обращает было свой взор к тайне мира, но уже через абзац или два срывается и барахтается – надо полагать, не без удовольствия – в очередной слепленной из букв п-де. Впрочем, не в ней ли главная тайна мира и главный его соблазн? Так спросил бы юный Бодриар. На что Деррида заметил бы, что п-да и х-й, которые вместе с популярным изложением основ квантовой механики занимают в творчестве Уэльбека центральное место, есть не настоящие репродуктивные органы, а скорее, их потемкинские симулякры на «холодном и бледном» (Сартр) теле французского языка. А я, Кика, добавил бы

вот что: в отличие от авторов, которые работают по справочникам и энциклопедиям, мне два или три раза в жизни действительно доводилось стоять лицом к лицу с п-дой, глядя прямо в ее тусклый немигающий глаз, поэтому эротические периоды Уэльбека кажутся мне несколько надуманными, умственными, показывающими блестящее знание теории, но обнажающими досадную нехватку практического опыта. Впрочем, б-г с ним. Я не стану упрекать его в том, что он эксплуатирует сексуальную фрустрацию французского обывателя. Но не потому, что нахожу главную ноту его романов безжалостно точной, а потому, что нет слов, какими я мог бы выразить, насколько мне по х-ю французский обыватель».

Как видно из последней фразы, о ненависти тут говорить не приходится. Мотивация его поступков не имела отношения к мести. Она была диаметрально противоположной. Кика полагал, что спасает Европу от потока грязной азиатской человеконфети, ставя на ее пути магический заслон. Для этого Нафикову пришлось совершить чудовищное по своему цинизму преступление, но цель, как он был уверен, оправдывала средства.

Кика решил помочь Европе с помощью магии. Если точно – симпатической магии, которая призвана воздействовать на большое через подобное ему малое. Суть его идеи сводилась к тому, что Европу можно спасти с помощью прививки, точно так же, как серьезную болезнь предотвращают, заставляя организм переболеть ею в легкой форме.

«Я знаю, что меня проклянут и поставят в один ряд с Джеком-Потрошителем, – пишет Кика, – но кто-то должен взять на себя этот неблагодарный труд. Когда-то варвар Теодорих встал на защиту Рима. Теперь, в наши равно пограничные времена, Теодорихом суждено стать мне».

Новый Теодорих начал свое служение древней европейской цивилизации с того, что снял на рю Сен-Оноре в Париже двухэтажный офис для совместного предприятия «Ойл Эве». Название объяснялось тем, что фирма была зарегистрирована на территории Эвенкского национального округа с целью максимального ухода от налогов – даже на дне шизофрении, как мы видим, потомственный нефтяник не терял деловой сметки.

А дальше Кика стал добывать нефть из французов и откачивать ее обратно в Россию.

Разумеется, речь здесь идет не о густой маслянистой жидкости черного цвета, а о ее виртуальном аналоге, который Кика называл «человеконфетью», – то есть деньгах, которыми становится человеческое страдание. Его выкладки и рассуждения на эту тему напоминают то рассказ Лавкрафта, то сочинения средневекового мистика; они приводят к схеме, где изоощренная логика соседствует с разнузданным безумием. По плану Кики, чтобы восстановить нарушенный баланс энергий на европейском пространстве, следовало организовать обратный вывоз капитала из Европы в Россию, пусть даже символический. Но этот капитал обязательно должен был быть функцией человеческого страдания – только это гарантировало магической операции-прививке успех.

Выше мы говорили, что ненависть Кики к Бодриару сродни эдипову комплексу, потому что Бодриар был истинным отцом большинства его идей. Вот еще одно подтверждение: трудно не заметить, что весь оккультно-инженерный проект Кики – шизофреническая реакция на книгу «Символический обмен и смерть». Если точно, даже не на саму книгу, а на ту единственную ее часть, которая доступна заурядному уму, – название. Скорее всего, именно оно запало Кике в душу и стало руководством к действию.

«Ойл Эве» было странным предприятием. Его сотрудники набирались из одиноких людей; их огромная зарплата служила компенсацией за долгую командировку «в довольно малоинтересную местность», куда их отправляли вскоре после подписания контракта. Фирма пожирала огромное количество денег, производя смутный и совершенно невостребованный продукт под названием «консультационно-посреднические и расчетно-технические услуги по

инвестированию в разведку, освоение и разработку перспективных нефтяных месторождений в зонах взаимно оговоренного интереса». Консультационными услугами «Ойл Эве», как выяснилось впоследствии, пользовалось только одно предприятие – русско-немецкий консорциум «Айн Нене», зарегистрированный на территории Ненецкой Республики все с той же целью – попасть под налоговую льготу. Учредителем «Айн Нене» тоже был Кика.

Все это было просто ширмой от полиции и налоговых служб. В офисе на рю Сен-Оноре сидело пять-шесть секретарш, занятых «подготовкой технических условий» или «согласованием расчетных единиц» – речь всегда шла о немудреной технической работе, чуть более сложной, чем перекладывание бумаг из одной папки в другую. После того как «Ойл Эве» выполняло заказ «Айн Нене», деньги с франкфуртского счета Кики переводились на парижский.

Хотя оба предприятия были убыточными и просто транжирили Кикины средства, с технической точки зрения деньги на парижском счету были доходом от деятельности «Ойл Эве», с которого Кика платил налог, что делало его уважаемым бизнесменом. Поэтому никто до поры до времени не задавался вопросом, что это за «длительная командировка в малоинтересную местность», куда так доверчиво отправлялись сотрудники совместного предприятия после фуршета на рю Сен-Оноре.

Подозрения возникли после того, как одного из командированных стала разыскивать его бывшая подруга, которой он явился во сне в виде страдающего духа. Сначала в полиции отмахивались от назойливой посетительницы, сочтя ее ненормальной, но в конце концов вынуждены были начать расследование. Вскоре после этого поступило еще несколько заявлений об исчезновении сотрудников «Ойл Эве», и Кикой заинтересовались всерьез. За ним была установлена слежка, которая не дала никаких результатов.

Однажды, когда он выходил из ресторана «Нобу», к нему подошли двое сотрудников криминальной полиции и попросили сесть с ними в машину. Кика подчинился, но потребовал, чтобы на допросе присутствовал адвокат.

После прибытия адвоката Кика сказал, что хочет сделать заявление. Следователи включили свои диктофоны, адвокат – свой, после чего Кика залез на стол и на прекрасном французском языке произнес полтора часовой монолог, главная мысль которого сводилась к тому, что сброшенные гадюками шкурки и следы сорок на речном песке должны рассматриваться в качестве элементов дискурса наравне с половыми сношениями, джазовыми фестивалями и авиационными бомбардировками.

Это произвело на полицейских такое сильное впечатление, что Кика был немедленно отпущен под подписку о невыезде даже без залога. Но на следующий день в полицию поступили новые заявления о пропажах людей, и информация просочилась в газеты. Был выписан ордер на арест Кики, но он к этому моменту уже скрылся в неизвестном направлении. Полиция отправилась на рю Сен-Оноре.

Документы в офисе «Ойл Эве» не содержали никакой прямой информации о судьбе пропавших. Но в сейфе Кикиного кабинета была обнаружена документация на мощную печь для сжигания мусора, недавно приобретенную фирмой. Никто из сотрудников ничего об этом не знал. Кроме того, были найдены заметки Кики и два его рисунка, чрезвычайно встревожившие следствие (впоследствии они были опубликованы в приложении к «Македонской критике»).

Первый набросок Кики изображал кирпичную трубу, окольцованную проводом, по которому пунктирной стрелочкой было показано движение денег. Из пометок под рисунком следовало, что по проводу осуществлялся банковский перевод в Россию. Отдельно был изображен защитный короб, в сечении похожий на гроб. В нем провод поднимался по трубе, делал петлю у ее жерла и сбегал вниз. Эту технически бессмысленную подробность Кика считал необходимой, чтобы соблюсти полную симметрию с нефтяным бизнесом: деньги должны были

проходить «по трубе» и «через гроб», так и написано под чертежом. Но откуда и куда идет провод, из схемы не было ясно. Трубу на эскизе окружали несколько деревьев; с большой аккуратностью были прорисованы кирпичи, ведущие к жерлу скобы и дым. Рядом в воздухе застыла птица; под птицей – рукописный стишок:

Как-то раз восьмого марта
Бодриар Соссюр у Барта.

Интересно, что это единственное упоминание Ролана Барта во всем теоретическом наследии Кики.

Второй рисунок своей туманной многозначностью произвел на следствие еще большее впечатление. Подпись гласила, что это – «треугольник Соссюра», вписанный в «треугольник Гудериана». Уже знакомого с предметом читателя не удивит, что треугольник Соссюра представлял собой фигуру с девятью углами, вершинами которой наряду с такими понятиями, как «знак» и «означаемое», служили циррозная гусиная печень «фуа гра», красное вино «Божоле» и тайные места человеческого тела.

Что касается треугольника Гудериана, то здесь имелся в виду прицел немецкого танка «тигр» – насечка на оптике, сквозь которую видел мир наводчик орудия. Она действительно представляла собой треугольник, окруженный тремя зубчатыми линиями – двумя горизонтальными и одной вертикальной. У следователей мурашки поползли по коже. Сначала никто не мог понять, при чем тут немецкий танковый стратег Гудериан. И только после того, как кто-то открыл энциклопедию, стало ясно, в чем дело: Гудериан был выпускником Казанского танкового училища, где обучался в тридцатых годах прошлого века.

Интерпол провел обыск в офисе «Айн Нене» во Франкфурте. Оказалось, что это предприятие, помимо составления заказов для парижской конторы, занималось крайне странным делом: строило на берегах уральских рек крохотные замки и разбивало там же карликовые теплицы-виноградники, лоза для которых доставлялась из Франции. Запрос, посланный в Россию, показал, что игрушечные постройки приобретались представителями того же Кики, которые использовали для оплаты покупок счет в московском «Дельта-кредите».

Кроме «Дельта-кредита», с Кикой сотрудничала еще одна московская финансовая структура – «Санбанк». Туда было переведено в общей сложности около тридцати миллионов долларов, дальнейшую судьбу которых следствие не смогло установить. Из обнаруженных документов не было ясно, откуда Кика переводил деньги, – удалось выяснить только балансовую цифру. Полицейские, возможно, поняли бы ее происхождение, будь у них возможность ознакомиться со следующей цитатой из «Македонской критики»:

«Расчеты показывают, что надо удерживать на российском счете-компенсаторе тридцать миллионов евродолларов (так Кика называет доллары, трансмутированные из страдания европейцев) в течение трех лет. Тогда меч судьбы, занесенный над древними цивилизациями Европы, можно будет отразить...»

Но следователи ничего не знали об этом трактате. Им показалось странным, что трансфер осуществлялся суммами в 368 евро (причем каждый день проходило до тысячи переводов). Но в такой активности не было ничего незаконного.

В офисе «Айн Нене» обнаружилось несколько счетов за оплату помещения заброшенной башмачной фабрики под Парижем, которую фирма уже несколько месяцев снимала в аренду. Никто из сотрудников не имел представления о том, что это за фабрика и что там происходит – все связанные с ней контракты заключал лично Кика. Получив новую информацию, парижская

бригада в сопровождении спецназа помчалась по найденному адресу.

Фабрика состояла из нескольких складов и стоявшего особняком производственного цеха, похожего на ангар. К ангару примыкала пристройка, над которой дымила кирпичная труба; сотрудники полиции в бинокль разглядели на ней короб с проводом, в точности как на найденной схеме.

По внешнему периметру весь комплекс охраняли сотрудники частного парижского агентства; производственный цех с крематорием – жутковатого вида бритоголовые братки из Казани в цепях, татуировках и костюмах от Кардена. Там же нашлись два адвоката, которые попытались задержать следствие, требуя у полицейских то одну бумагу, то другую, так что спецназ оказался весьма кстати. Всю эту публику пришлось припугнуть и запереть в пустом складе, после чего спецназ с оружием наготове ворвался в производственный цех, готовясь увидеть самое страшное.

Но того, что открылось их глазам, не ожидал никто.

«Мне показалось, – описывал впоследствии свои впечатления один из полицейских, – что это какая-то эфиопская «Матрица» или, может быть, съемочная площадка садомазохистского порноблокбастера. Или та часть ада, которую у Данте не хватило бесстыдства описать».

В помещении цеха было смонтировано тридцать семь одинаковых ячеек, напоминающих индивидуальное рабочее место в офисе, так называемый cubicle. Но на этом рабочем месте не было ни стола, ни даже стула. Находившиеся в ячейках люди были подвешены на специальных ремнях в позе, напоминающей положение животного в стойле. Их руки и ноги были пристегнуты кожаными лямками ко вбитым в бетонный пол костылям, так что побег был невозможен. Перед лицом каждого из них помещался жидкокристаллический экран, на котором в сложной последовательности высвечивались отрывки из текстов Лакана, Фуко, Бодриера, Дерриды и других титанов мысли – не забыт был даже Мишель Уэльбек.

Все пленники были совершенно голыми (в помещении поддерживалась постоянная температура). Кабинки располагались в два параллельных ряда; над филейными частями пленников были проложены потолочные рельсы, по которым ездили два одинаковых промышленных робота, изготовленных по заказу Кики в Японии. Компьютерная система, которая переключала тексты на экранах, управляла и роботами. Программа была составлена таким образом, что в тот момент, когда перед кем-нибудь из несчастных страдальцев появлялся отрывок из книги Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать», робот оказывался точно над ним и наносил хлесткий удар нейлоновыми розгами по его обнаженным ягодицам. Одновременно с этим компьютерная система осуществляла перевод суммы в 368 евро в Россию, на специальный счет московского «Санбанка» – по тому самому проводу, который делал петлю вокруг жерла трубы.

Кормлением пленников и уборкой помещения занимались две глухонемые афганки в паранджах, что впоследствии дало повод говорить о причастности к делу арабских террористов. Но это, конечно, просто утка, а что до известной фотографии, где Кика в майке с надписью «Je ne regrette rien»^[3] стоит рядом с Усамой бен Ладеном, то это некачественная подделка, на которой при увеличении становятся видны швы от монтажа. Глухонемая обслуга нужна была Кике для того, чтобы уборщицы не жаловались на странности своей работы. Восточные женщины неприхотливы, а условия труда в производственном цехе были довольно тяжелы.

Тяжелы они были прежде всего потому, что там стояла невыносимая вонь – все пленники страдали расстройством желудка из-за своей диеты. Женщины в паранджах кормили их исключительно суши с фуа гра – это блюдо в огромном количестве готовил в соседней деревушке нанятый Кикой повар из парижского ресторана «Мэнрэй». Пили пленники только свежее «Божоле». Подаваемое к суши красное вино должно было, по мысли Кики, сделать их

страдания невыносимыми.

Однако здесь он просчитался – циррозная гусиная печень, по мнению многих экспертов, вполне сочетается с молодым красным вином. Как заметил по этому поводу один парижский философ, пугаться самого сочетания слов «суши» и «красное», абстрагируясь от референций, к которым апеллируют эти знаки, означает попасть под влияние номинализма, чтобы не сказать лингвистического детерминизма в его самом примитивном воплощении. Вот тебе, Кика, вот тебе...

Следователи догадались, что еда и некоторые другие детали происходящего, которыми мы не будем смущать читателя, были вариацией на тему «треугольника Соссюра». «Треугольник Гудериана» тоже не был забыт: пол и поддерживающие потолок колонны покрывал орнамент из треугольничков и зигзагообразных линий. Глухие стены помещения украшала фреска-триптих под названием «Мишель Фуко получает от ЦРУ миллион долларов за клевету на СССР». Фуко был изображен три раза – напротив входа он получал во мраке ночи свои сребреники, а на двух боковых стенах бестрепетно и бесстыдно клеветал, делая вид, что не видит вокруг ни комбайнов, ни спутников, ни океанов пшеницы, ни мерцающих огнями новостроек. И над всем этим, заглушая голоса и делая дискурс невозможным, несся из мощных динамиков этнофутуристический хор Клауса Баделъта из фильма «Машина времени».

Следствие сделало несколько умных и точных интерпретаций. Во-первых, было объяснено происхождение суммы в 368 евро, которая переводилась в Россию при каждом ударе розог. Это был увеличенный на два порядка коэффициент из формулы для вычисления Серного фактора, которая дважды встречается в «Македонской критике»:

$$Сф = 3,68 (s2 - s1) \text{ долларов за тонну}$$

Однако иные предположения заходят, пожалуй, чересчур далеко. Например, высказывалась догадка, что макеты Эйфелевой башни и собора Василия Блаженного, стоявшие в разных концах производственного цеха, символизируют слагаемые в выражении $(s2 - s1)$, а роль минуса играет флагшток с русским и французским триколорами в центре помещения. По понятным причинам, это утверждение трудно поддается проверке.

Другая гипотеза касается количества пленников, которых, как мы уже говорили, было тридцать семь. Основываясь на том, что среди жертв было тридцать шесть французов и один бельгиец, следствие предположило, что это скрытая репрезентация числа 36,8 – увеличенный на порядок серный коэффициент 3,68. В пользу этого предположения говорит то, что число 36,8 как раз вписывается в ряд между 3,68 и 368. Но Кика, в отличие от следователя, которого посетила эта догадка, никогда не был шовинистом.

Пыточный цех функционировал без всяких сбоев поразительно долгое время. Многие задавались вопросом, как такое могло произойти в самом центре Европы. Но Кика оказался очень предусмотрительным безумцем – никто из вовлеченных в дело даже не подозревал, что на фабрике происходит что-то странное. Из здания никогда ничего не выносили. Все отходы жизнедеятельности пленников сжигались в той самой печи, документы на которую были обнаружены на рю Сен-Оноре – это по ее трубе проходил провод в гробообразном коробе. Возможно, кремация тоже играла какую-то роль в алхимических построениях Кики, но сейчас об этом бесполезно гадать.

Сотрудники парижского охранного агентства никогда не приближались к производственному цеху, охраняя только внешний периметр фабрики, а казанские братки, которые часто заходили внутрь и видели все, что там творилось, были введены в заблуждение Кикой, сказавшим, что в помещении фабрики «прячутся его должники». Казанские ребята были

уверены, что участвуют в нормальном бизнесе по получению долгов, и их шокировала правда, которая открылась им на следствии.

– Да если б мы знали, что это такой моральный урод, – сказал бригадир казанских Марат, – мы б его сами на ремнях подвесили.

Самым удивительным было то, что никто из потерпевших так и не стал предъявлять Кике уголовного иска, и это пришлось сделать государству. Подписанный потерпевшими контракт был составлен таким образом, что его можно было истолковать как согласие участников на проводимый эксперимент; разрывая его, они теряли право на свое более чем значительное вознаграждение. Поэтому громкого дела не получилось. Но у следствия накопилось столько вопросов к Кике, что и по сей день он остается в списке разыскиваемых Интерполом.

Ходили слухи, что Кика вернулся в Казань и даже написал для Татарского академического театра либретто – автобиографический балет «Непрощенный гость». Другие утверждали, что он поселился в Буэнос-Айресе. Третьи видели его в Малибу. Все эти слухи остались без подтверждения. Достоверно известно одно – спасаясь от отчуждения своей французской собственности, Кика передал виллу на Кап Ферра в собственность Уриму и Туммиму.

Урим и Туммим поженились в Швеции и теперь мирно живут на вилле. С журналистами они общаются не очень охотно и вообще не любят шума вокруг себя. Тем не менее недавно они участвовали в берлинском love-параде. Достав из вод Средиземного моря бронзовых слоников Церетели, они вернули их на место, покрасив в розовый цвет. Теперь о Кике на вилле напоминает только его автограф на стене – выведенная черной краской надпись:

«Люди думают, что торгуют нефтью, а сами становятся ею».

Урим и Туммим говорят, что оставили ее на память. Фотография счастливой парочки возле розовых слонов, больше похожих на поросят, обошла все парижские журналы. Российский атташе по делам культуры выразил было по этому поводу вялый протест, но в защиту Урима с Туммимом выступил сам Вацлав Гавел, находившийся проездом во Франции, и дело замяли.

Что известно про Кикку? Он жив; из нескольких сделанных им для печати заявлений следует, что он до сих пор уверен, что спас неблагодарную Европу от нового средневековья (нам, татарам, это не впервые, добавляет Кика). Но в деле, которое он считал главным – разоблачении французских философов XX века, – он, на наш взгляд, потерпел полное фиаско. Чем яростнее он нападает на эти великие умы, тем сильнее чувствуется, насколько он им не ровня. Инсинуации Кики можно считать своего рода комплиментом: то, что безразлично, не атакуют с такой звериной яростью.

Философия – темный для непосвященного предмет, поэтому мы говорим не о сути его нападок. Дело в интонации, которая каждый раз выдает его с головой, – как, например, в пассаже, которым кончается «Македонская критика французской мысли»:

«В знаменитых французских комедиях – «Высоком блондине», «Великолепном», «Такси-2» и других – встречается следующая тема: немолодой и явно не спортивный человек кривляется перед зеркалом или другими людьми, смешно пародируя приемы кунг-фу, причем самое уморительное в том, что он явно не умеет правильно стоять на ногах, но тем не менее имитирует за пределами продвинутой, почти мистический уровень мастерства, как бы намечая удары по нервным центрам и вроде бы выполняя энергетические пассы, и вот эта высшая и тайная техника, которую может оценить только другой достигший совершенства мастер, и то разве что во время смертельного поединка где-нибудь в Гималаях, вдруг оказывается изображена перед камерой с таким самозабвенным всхлипом, что вспоминается полная необязательность для истинного мастера чего бы то ни было, в том числе и умения правильно стоять на ногах; отвислое брюшко начинает казаться вместилищем всей мировой энергии ци, волосатые худенькие ручки – каналами, по которым, если надо, хлынет сверхъестественная мощь, и

сознание несколько секунд балансирует на пороге того, чтобы поверить в эту буффонаду. Именно возможность задаться, пусть только на миг, вопросом: «А вдруг правда?!» – и делает происходящее на экране так невыразимо смешным.

Скромное обаяние современной французской мысли основано, в сущности, на том же самом эффекте».

День бульдозериста

*Что они делают здесь,
Эти люди?
С тревогой на лицах
Тяжелым ломом
Все бьют и бьют.*

Исакова Такубоку

Иван Померанцев упер локти в холодный сырой бетон подоконника с тремя или четырьмя изгибающимися линиями склейки (Валерка, когда жену пугал, ударил утюгом), сдул со стекла ожиревшую черную муху и выглянул в залитый последним солнцем осенний двор. Было тепло, и снизу поднимался слабый запах масляной краски, исходивший от жестяной крыши пристройки, покрашенной несколько лет назад и начинавшей вонять, как только чуть пригревало солнце. Еще пахло мазутом и щами – тоже совсем несильно. Слышно было, как вдали орут дети и ржут лошади, но казалось, что это не природные звуки, а прокручиваемая где-то магнитофонная запись – наверно, потому казалось, что ничего одушевленного вокруг не было, кроме неподвижного голубя на подоконнике через несколько окон. Улица была какой-то безжизненной, словно никто тут не селился и даже не ходил никогда, и единственным оправданием и смыслом ее существования был выцветший стенд наглядной агитации, аллегорически, в виде двух мускулистых фигур, изображавший народ и партию в состоянии единства.

В коридоре продребезжал звонок. Иван вздрогнул, отложил уже размятую «пегасину» – сигарета была сырой, твердой и напоминала маленькое сувенирное полено – и пошел открывать. Идти было долго: он жил в большой коммуналке, переделанной из секции общежития, и от кухни до входа было метров двадцать коридора, устланного резиновыми ковриками и заставленного детскими кедами да грубой обувью взрослых. За дверью бухтел тихий мужской голос и время от времени коротко откликалась женщина.

– Кто? – спросил Иван бытовым тоном. Он уже понял кто – но ведь не открывать же сразу.

– К Ивану Ильичу! – отозвался мужчина.

Иван открыл. На лестничной клетке стояла так называемая пятерка профбюро, состоявшая у них в цехе из двух всего человек, потому что эти двое – Осьмаков и Алтынина (она была сейчас в марлевом костюмчике и держала в руках, далеко отнеся от туловища, пахнущий селедкой сверток) – совмещали должности.

– Иван! Ванька! – заулыбался с порога Осьмаков, входя и протягивая Ивану две подрагивающие мягкие ладони. – Ну ты как сам-то? Болит? Ноет?

– Ничего не болит, – смутясь, ответил Иван. – Идем в комнату, что ли.

От Алтыниной еще сильнее, чем селедкой, пахло духами; Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтоб не чувствовать.

– Вот так, значит, Ванюша, – грустно и мудро сказал Осьмаков, сев у стола, – все выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Это, дорогой ты мой человек, дефект сварки был. На носовом кольце. И с имени твоего теперь снято всякое недоверие.

Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по сторонам, словно чтобы определить, где он, – определил и тихонько вздохнул.

– У ней ведь корпус из урана, у бомбы, – продолжал он, – а кольцо-то стальное. Надо спецэлектродом приваривать. А они, во втором цеху, простым приварили. Передовики майские. Вот оно и отлетело, кольцо-то. Ты хоть помнишь, как все было?

Иван прикрыл глаза. Воспоминание было какое-то тусклое, формальное, словно он не вспоминал, а в лицах представлял себе рассказанную кем-то историю. Он видел себя со стороны: вот он нажимает тугую кнопку, которая останавливает конвейер, кнопка срабатывает с большой задержкой, и щербатую черную ленту приходится отгонять назад. Вот он цепляет крючком подъемника за кольцо отбракованную бомбу с жирной меловой галкой на боку (криво приварен стабилизатор, и вообще какая-то косая), включает подъемник, и бомба, тяжело

покачнувшись, отрывается от ленты конвейера и ползет вверх; цепь до упора наматывается на барабан и срабатывает концевик.

«Уже четвертая за сегодня, – думает Иван, – так, глядишь, и премия маем гаркнет».

Он нажимает другую кнопку – включается электромотор, и подъемник начинает медленно ползти вдоль двутавра, приваренного к потолочным балкам. Вдруг что-то заедает, и бомба застревает на месте. Так иногда бывает – вмятина на двутавре, кажется. Иван заходит под бомбу и начинает качать ее за стабилизатор – так она набирает инерцию, чтобы колесо подъемника перекатилось через вмятину на рельсе, – как вдруг бомба странным образом поддается, а в следующую секунду Иван понимает, что держит ее в правой руке над своей головой за заусенчатую жесть стабилизатора. Дальше в памяти – окно больничной палаты: шест с бельевой веревкой да половина дерева...

– Вань, – прозвучал осьмаковский голос, – ты чего?

– Порядок, – помотал Иван головой. – Вспоминаю вот.

– Ну и что? Помнишь?

– Частично.

– Самое главное, – сказала Алтынина, – что вы, Иван Ильич, из-под бомбы выскочить все-таки успели. Она рядом упала. А...

– А по почкам тебе баллон с дейтеридом лития звезданул, – перебил Осьмаков, – сжатым воздухом выкинуло, когда корпус треснул. Хорошо хоть, баллон не грохнул – там триста атмосфер давление.

Иван сидел молча, слушая то Осьмакова, то большую черную муху, которая через равные промежутки времени билась в окно. «Верно, гости растревожили, – думал он, – раньше тихо сидела... Чего ж они хотят-то?»

Скоро с Осьмаковым произошло обычное рефлекторное переключение, которое вызвал у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока: его глаза подобрели, голос стал еще человечней, а слова стали налезать одно на другое – чем дальше, тем заметней.

– Ты, Вань, – говорил он, маленькими кругами двигая по клеенке невидимый стакан, – и есть самый настоящий герой трудового подвига. Не хотел тебе говорить, да скажу: про тебя «Уран-Баторская правда» будет статью печатать, уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку. Там, короче, написано все как было, только завод наш назван уран-баторской консервной фабрикой, а вместо бомбы на тебя столитровая бочка с помидорами падает, но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить. Ну и фамилия у тебя другая, понятно... Мы советовались насчет того, какая красивее будет – у тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли... Май его знает. И имя неяркое. Придумали: Константин Победоносцев. Это Васька предложил, из «Красного полураспада»... Умный, май твоему урожаю...

Иван вспомнил – так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть. Ее было тяжело читать, потому что все там называлось иначе, чем на самом деле: линия сборки водородных бомб, где работал Иван, упоминалась как «цех плюшевой игрушки средней мягкости», так что оставалось только гадать, что такое, например, «цех синтетических елок» или «отдел электрических кукол»; но когда «Красный полураспад» писал об освоении выпуска новой куклы «Марина» с семью сменными платьицами, которой предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую заграницу с обложки «Шакала» и злорадно думал: «Что, вымпелюги майские, схавали в своих небоскребах?» Правда, уже полгода «Красный полураспад» распространялся по списку – как было объяснено в редакционной статье, «в связи с тем значением, которое придается производству мягкой игрушки», – и Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке.

Осьмаков как-то незаметно перескочил на другую тему.

– В общем, жужло баба, – тихо говорил он, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица, – трудяга... Я ей кричу: какого же ты мая, мать твою, забор разбираешь...

– Это, Иван Ильич, – перебила Алтынина, – вообще первый случай, когда про наш завод городская газета напишет. И еще, может быть, с телевидения приедут. Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против.

– Чем? – не понял Иван.

– Совком, – отчетливо повторила Алтынина. – Товарищ Копченков сейчас занят – здание детям передает. Но сам лично звонил.

– Шуму-то сколько, Галина Николаевна.

– Надо ж на чем-то детей воспитывать. А то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на Санделя опять мусорный бак взорвали. По песочницам бродят...

Осьмаков вдруг издал булькающий звук и повалился головой на стол. Началась суэта – Иван побежал на кухню за тряпкой, Алтынина хлопотала вокруг Осьмакова, приводя его в чувство и объясняя, как он сюда попал и где находится. Когда Иван принес тряпку, Осьмаков выглядел уже совершенно трезвым и мрачно позволял Алтыниной оттирать ему лацкан пиджака носовым платком. Гости сразу же стали собираться – встали, Алтынина взяла со стола пахнущий селедкой сверток (Иван решил почему-то, что тот предназначался для него) и стала его переупаковывать – заворачивать в свежую газету, потому что бумага уже пропиталась коричневым рассолом и грозила вот-вот разорваться. Осьмаков с фальшивым интересом уставился в настенный календарь с изображением низенькой голой женщины у заснеженного «запорожца». Наконец селедка была упакована и гости попрощались – Иван так и проводил их до двери с тряпкой в руке и с этой же тряпкой вернулся в комнату, кинул ее на пол и сел на диванчик.

Некоторую странноватую вялость своего состояния он объяснял тем, что из-за ушиба почек не пил уже целых две недели: одну неделю в больнице, а вторую – дома. Но всерьез смущало его то, что никак не удавалось вспомнить свою жизнь до несчастного случая. Хоть он более или менее помнил ее фактическую сторону, воспоминания не были по-настоящему живыми. Например, он помнил, как они с Валеркой пили после смены «Алабашлы» и Валерка на отрывке произнес «слава труду» в тот момент, когда Иван подносил бутылку к губам, – в результате полный рот портвейна пришлось выплюнуть на кафельный пол, так было смешно. А сейчас Иван вспоминал самого себя смеющимся, вспоминал короткую борьбу с мышцами собственной гортани за отдающий марсианской нефтью глоток, вспоминал хохочущую рожу Валерки, но совершенно не мог припомнить самого ощущения радости и даже не понимал, как это он мог с таким удовольствием пить в пахнущем мочой закутке за ржавым щитом пятого реактора.

То же относилось и к комнате. Вот, например, этот календарь с «запорожцем» – Иван совершенно не мог представить себе состояния, в котором могло появиться желание повесить этот глянцевый лист на стену. А он висел. Точно так же непонятно было происхождение большого количества пустых, зеленого стекла бутылок, стоявших на полу перед шкафом, – то есть ясно, сам Иван с Валеркой их и выпили, да еще не все здесь остались – много повылетало в окно. Непонятно было другое – почему весь этот портвейн оказался выпитым, да еще в обществе Валерки. Словом, Иван помнил все недавние события, но не помнил себя самого посреди этих событий, и вместо гармонической личности коммуниста или хотя бы спасающейся христианской души внутри было что-то странное – словно хлопала под осенним ветром пустая оконная рама.

– Марат, – убеждал за стеной женский голос, – будешь писать в окно, тебя в сандалята не

примут. Послушай маму...

С утра весь город узнавал, что дают в винном. Бесплезно было бы пытаться понять как – об этом не сообщали по радио или телевизору, но все же каким-то странным образом это становилось известно, и даже малыши, обдумывая планы на вечер, вполне могли думать что-нибудь вроде: «Ага... сегодня в винном портвейн по два девяносто... папа будет после восьми. А водка уже кончается. Значит – до одиннадцати...» Но они не задавались вопросом, откуда это узнали, – точно так же, как не спрашивали себя, откуда они знают, что сегодня стоит солнечная погода или, наоборот, хлещет проливной дождь. Винных магазинов в городе было, конечно, не один и не два, но продавали в них всегда одно и то же; даже пиво кончалось одновременно и в подвале на улице Спинного Мозга, и в бакалее на Сухоточном проезде, на противоположном конце Уран-Батора, так что жители любого района думали обобщенно: «винный» – о какой бы конкретной точке ни шла речь.

Вот и Иван, прикинув, что сегодня в винном коньяк по тринадцать пятьдесят, а с черного хода – еще и болгарский сушняк по рубль семьдесят плюс полтинник сверху, решил, что Валерка, сосед и кореш, наверняка возьмет сушняка, а потом еще задержится в подсобке поболтать с грузчиками, – и, подойдя к винному, наткнулся прямо на него. Валерка тоже не удивился, увидев Ивана, словно знал, что тот возникнет в прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков, на фоне уже повешенной на заборе гирлянды тряпичных гвоздик.

– Пойдем, – сказал Валерка, перекинул позвякивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил его вниз по Спинномозговой, кивая друзьям и огибая пронзительно пахнущие лужи рвоты.

Дошли до обычного места – дворика с качелями и песочницей. Сели: Валерка, как всегда, на качели, а Иван – на дощатый борт песочницы. Из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрагивающий на ветру, и несколько сухих веток. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек – она давала великолепные урожаи, почти такие же, как избушки на детской площадке в парке имени Мундинделя, и старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на Спинномозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками; из какого-то странного такта они всегда сражались молча, и единственным звуковым оформлением их побоищ – часто групповых – было торопливое дыхание и редкий звон медалей.

– Пить будешь? – спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль.

– Не могу, – ответил Иван. – Ты же знаешь. Почки у меня.

– У меня тоже не листья, – ответил Валерка, – а я пью. Ты на всю жизнь, что ли, дураком стал?

– До праздника потерплю, – ответил Иван.

– На тебя смотреть уже тошно. Как будто ты... – Валерка сморщился в поисках определения, – как будто ты нить жизни потерял.

Кисло пахнуло сушняком – Валерка задрал голову вверх, опрокинул бутылку над разинутым ртом и принял в себя ходящую из стороны в сторону из-за каких-то гидродинамических эффектов струю.

– Вот, – сказал он, – птиц сразу слышу. И ветер. Тихие такие звуки.

– Тебе б стихи писать, – сказал Иван.

– А я, может, и пишу, – ответил Валерка, – ты откуда знаешь, знамя отрядное?

– Может, пишешь, – равнодушно согласился Иван. Он с некоторым удивлением заметил, что дворик, где они сидят, состоит не только из песочницы и качелей, а еще и из небольшой

огороженной клумбы, заросшей крапивой, из длинного желтого дома, пыльного асфальта и идущего зигзагом бетонного забора. Вдали, там, где забор упирался в дом, на помойке копошились дети, иногда подолгу задумчиво замиравшие на одном месте и сливавшиеся с мусором, отчего невозможно было точно определить, сколько их. «В центре дети воспитанные и уродов мало, – подумал Иван, глядя на их возню, – а отъехать к окраине, так и на качели залазят, и в песочнице роются, и ножиком могут... И какие страшные бывают...»

Дети словно почувствовали давление Ивановой мысли: одна из фигурок, до этого совершенно незаметная, поднялась на тонкие ножки, походила немного вокруг мятой желтой бочки, лежавшей чуть в стороне от остального мусора, и нерешительно двинулась по направлению к взрослым. Это оказался мальчик лет десяти, в шортах и курточке с капюшоном.

– Мужики, – спросил он, подойдя поближе, – как у вас со спичками?

Валерка, занятый второй бутылкой, в которой отчего-то оказалась тугая пробка, не заметил, как ребенок приблизился, а обернувшись на его голос, очень разозлился.

– Ты! – сказал он. – Вас в школе не учили, что детям у качелей и песочниц делать нечего?

Мальчик подумал.

– Учили, – сказал он.

– Так чего ж ты? А если б мы, взрослые, стали бы к вам на помойки лазать?

– В сущности, – сказал мальчик, – ничего бы не изменилось.

– Ты откуда такой бойкий? – с недобрим интересом спросил Валерка. – Да ты знаешь, что у меня сын такой же?

Валерка чуть преувеличивал – его сын, Марат, был с тремя ногами и недоразвитый – третья нога была от радиации, а недоразвитость – от отцовского пьянства. И еще он был младше.

– Да у вас, может, и спичек нет? – спросил мальчик. – А я говорю тут с вами.

– Были бы – не дал, – ответил Валерка.

– Ну и успехов в труде, – сказал мальчик, повернулся и побрел к помойке. Оттуда ему махали.

– Я тебя сейчас догоню, – заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке, – и объясню, какие слова можно говорить, а какие – нет... Наглый какой, труд твоей матери...

– Да плюнь, – сказал Иван, – что, сам, что ли, таким не был? Давай поговорим лучше... Со мной, знаешь, что-то странное творится. Как будто с ума схожу. Вроде все про себя помню, но так, словно не про себя, а про кого-то другого... Понимаешь?

– А чего тут не понять? – спросил Валерка. – Ты сколько уже не пьешь?

– Две недели, – ответил Иван. – Сегодня как раз.

– Так чего же ты хочешь. Это у тебя черная горячка начинается.

– Нет, – сказал Иван, – не может такого быть. Мне главврач сказал, что она раньше чем через полгода не бывает.

– Ты их слушай больше. Может, они думают, что ты через неделю первомай отметишь, и утешают – чтоб не мучился зря.

– Все равно, – сказал Иван, – не в этом дело. Я, представляешь, детства не помню. То есть помню, конечно, – могу в анкете написать, где родился, кто родители, какую школу кончил, но это все как-то не по-настоящему, что ли... Понимаешь, для себя ничего вспомнить не могу – для души. Закрываю глаза – и чернота одна или груша желтая, если лампочка отпечатается...

По двору торопливо пробежали дети с помойки и скрылись за углом. Последним бежал мальчик, искавший спички.

– Ну ты загнул, брат, – сказал Валерка. (Пока Иван говорил, он добил третью бутылку.) – Да кто ж его помнит, детство-то? Я тоже только слова одни помню. Так что можешь считать, с тобой все в порядке. Вот когда картинки всякие вспоминать начнешь – это и будет черная

горячка. И потом, какого мая его помнить-то, детство? Чего в нем хорошего? Как раз и...

В углу двора, среди металлолома, багрово сверкнуло и оглушительно грохнуло – словно по ушам хлопнули чьи-то огромные ладоши. Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана.

– Вот оно, детство твое, – придя в себя от неожиданности, сказал Валерка. – Пошли. Я тут больше пить не смогу – какую вонь подняли...

Иван встал и пошел за Валеркой. Все-таки ему не удалось выразить того, что он хотел сказать, – все, что он произносил вслух, оказывалось путанным и полоумным, и Валерка был совершенно прав в своем раздражении. «Выпить бы», – почесал Иван в затылке. Что-то подсказывало ему: стоит выпить, даже совсем немного, бутылки две сухого, – и все пройдет. «А что пройдет?» – подумал Иван. Действительно, непонятно было, что должно пройти. У Ивана, скорей, было чувство, что что-то уже прошло и теперь именно этого, прошедшего, и не хватает. «Ладно. А что прошло?» Это было совсем неясно, и, как Иван ни старался, единственное, что он мог сказать себе, – что прошло то состояние, в котором этих вопросов не возникало. Самое главное, что он даже не помнил, существовало ли в его памяти до несчастного случая какое-нибудь другое, отличное от нынешнего, воспоминание о прошлом – или и тогда все ограничивалось бесцветными анкетными формулами.

Вышли на Спинномозговую. Валерка оглядел багровые кирпичные стены и развешанные к празднику красные шестерни на фасадах.

– Ну, куда теперь? – спросил он.

Иван пожал плечами. Ему было все равно.

– А пошли к совкому, – сказал Валерка. – Прямо на площади и выпьем. Может, там кто из наших будет...

До площади Санделя, где находился совком, идти надо было вниз по Спинномозговой. Иван задумался, а от задумчивости незаметно перешел к тихому внутреннему оцепенению, так что на площади оказался как-то незаметно для себя. На фасаде серого параллелепипеда совкома уже были вывешены три профиля – Санделя, Мундинделя и Бабаясина, а напротив, над приземистой совкомовской баней, развернута кумачовая лента со словами: «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина!»

– Слышь, Валер, – сказал Иван, – а почему тут Мундиндель с волосами? Он же лысый был. И про Санделя ничего не пишут – что оно, хуже, что ли? Раньше же вроде писали.

– Откуда я знаю! – отозвался Валерка. – Ты еще спроси, почему трава зеленая.

Выстланное рубчатыми бетонными плитами, протяженное пустое пространство перед совкомом больше всего напоминало бы военный аэродром, если бы не огромный памятник прямо напротив здания – трехметровый усатый Бабаясин, занесший высоко над головой легендарную саблю, и худенькие крохотные Сандель и Мундиндель, словно подпирающие его с двух сторон и почти прекрасные в своем романтическом порыве. Со стороны памятника светило солнце, и своим контуром он напоминал воткнутые кем-то в бетон огромные толстые вилы. В тени памятника на вынесенных из совкома белых табуретах сидели несколько человек; перед ними, прямо на бетоне, была расстелена газета, на которой зелено блестяли бутылки и краснели помидоры.

– Пошли к этим, что ли, – сказал Валерка.

По гноящимся воспаленным глазам в сидящих у памятника легко было узнать рабочих с «Трикотажницы», пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке – весь город знал его как виртуоза-матерщинника (даже кличка у него была – «Валерка-диалектик»), а ребята с «Трикотажницы» очень гордились своими традициями краснословия.

– Пить кто будет, мужики? – спросил Валерка.

– Не, – после некоторой паузы ответил один из химиков, – мы секретаря ждем. Уже таят, хватит пока.

– А... Ну и день, прямо не верится – даже на маяву не пьют...

Валерка сел на бетон и оперся спиной о низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатило полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, так же подоткнув под зад край ватника, и зажмурил глаза. На душе у него по-прежнему было беспричинно грустно – зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду в какой-то словно бы щели воспоминание – странного вида красная кепка и еще пластмассовая поверхность стола, на которой...

– Валерка! – тихо позвал кто-то из химиков. – Валерка!

– Чего? – перестав булькать, спросил Валерка.

– Как там у вас, на Самоварно-Матрешечном? Выполнит план ваш коллектив?

Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но, сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело, – давно привык.

– Выполняем помаленьку, – лениво ответил он. – А у вас как трудовая вахта? Какие новые починки к майским праздникам?

– Думаем пока, – ответил химик. – Хотим у вас в трудовом коллективе побывать, с передовиками посоветоваться. Главное ведь – мирное небо над головой, верно?

– Верно, – ответил Валерка. – Приходите, посоветуйтесь. Хотя ведь у вас и своих ветеранов немало, вон Доска почета-то какая – в пять Стахановых твоего обмена опытом в отдельно взятой стране...

Кто-то тихо крикнул.

– Точно, есть у нас ветераны, – не сдавался химик, – да ведь у вас традиция соревнования глубже укоренилась, вон вымпелов-то сколько насобирали, ударники майские, в Рот-Фронт вам слабое звено и надстройку в базис!

«Хорошо, – отметил Иван, – а то уж больно он от нервов по-газетному начал...»

– Лучше бы о материальных стимулах думали, пять признаков твоей матери, чем чужие вымпела считать, в горн вам десять галстуков и количеством в качество, – дробной скороговоркой ответил Валерка, – тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика!

Иван вдруг подумал, что сегодняшняя беседа с мальчиком у качелей все же как-то повлияла на Валерку, хоть он ни словом не обмолвился об этом, – что-то горькое прорывалось в его речи.

Химик несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал:

– Хоть бы ты заткнулся, мать твою в город-сад под телегу.

– Ну так и отмиришь от меня на три мая через Людвиг Фейербаха и Клару Цеткин, – равнодушно ответил Валерка. Победа, как чувствовал Иван, не принесла ему особой радости. Это был не его уровень.

– Дай выпить, а? – пробормотал смущенный химик.

Иван открыл глаза и увидел, как тот принимает протянутую Валеркой бутылку. Химик оказался совсем молодым парнем, но, судя по цвету лица и фиолетовым нарывам на шее, поработал уже и с «Черемухой», и с «Колхозным ландышем», а может, и с «Ветерком». Все молчали; Иван хотел было что-то сказать для сердечности, но передумал и уставился на черный кончик тени от сабли Бабаясина, незаметно для глаза ползущий по бетону.

– А ты ничего маюги травишь, – сказал через некоторое время Валерка, – только расслабляться нужно. И не испытывать ненависти.

Парень посинел от удовольствия.

– А вы чего тут маетесь? – спросил кто-то из химиков. – Ждете кого-то?

– Так, – ответил Иван, – нить жизни ищем.

– Ну и чего, нашли? – раздался сзади звучный голос.

Иван обернулся и увидел секретаря совкома Копченова, зашедшего, видно, со стороны памятника, чтобы послушать живой народный разговор. Копченова Иван видел пару раз на заводе – это был небольшой плотный человек, совершенно неопределенного вида, обычно носивший дешевый синий костюм с большими лацканами, желтую рубашку и фиолетовый галстук. Раньше он работал в каком-то банке, где украл уйму денег, за что его частенько поругивали в печати.

– Послушал я вас, ребята, – сказал Копченков, потирая руки, – и подумал: ну до чего ж у нас народ талантливый... Как это ты, Валерий, диалектику с повседневной жизнью увязал: ну хоть сейчас в газету. Будем тебя в следующем году в народные соловьи выдвигать... А вы, ребята, чего?

– Записались, – ответил кто-то из химиков.

– Выслушаю, – сказал Копченков, – выслушаю. Ты, Иван, тоже не уходи – кое-что тебе вручить должен. Пошли...

Первое, что бросалось в глаза внутри совкома, – это огромное количество детей. Они были всюду: ползали по широкой мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, паясничали перед широким, в полстены, зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то вонючее, мучили под лестницей кошку – и непереносимо, отвратительно галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось переступить через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей.

– Вот так, – обернувшись, сказал Копченков. – Отдали детям.

Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике в глубоких креслах неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с прозрачными запотевшими забралами.

– Это кто? – любопытствовал Валерка.

– Это-то? Юные космонавты. Подсекция Дворца пионеров. У нас тут теперь Дворец пионеров, а внизу – еще детский сад и ясли.

– А зачем они в шлемах?

– Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся.

Наконец дошли до кабинета Копченова. Кабинет оказался совсем маленьким и скудно обставленным. Почти весь его объем занимал длинный стол для заседаний, из-под которого Копченков за ухо вытащил и пинком выпроводил в коридор слюнявого малыша. Иван заметил, что штора на окне как-то подозрительно шевелится – видно, за ней тоже прятались дети, – но решил не вмешиваться.

– Садитесь, – сказал Копченков и показал на стол.

Иван с Валеркой сели под портретом матери Санделя, пронзительно глядящей в комнату из-под белого чепца, а остальные присели к столу.

– Вот, значит, – сказал химик, который пытался состязаться с Валеркой, – хотим, значит, на хозрасчет переходить. И на самоокупаемость. Коллектив прислал.

– Хозрасчет, – сказал Копченков, – дело хорошее. Вы как, по какой модели собираетесь?

– А май его знает, – ответил, подумав, химик. – Ты и расскажи. Мы, думаешь, понимаем? Вот, допустим, сколько фосгена к хлорциану добавлять надо, чтоб «Колхозный ландыш» получился, это я знаю, а про модели эти – откуда? Вся жизнь в цеху прошла.

– Верно, – сказал Копченков. – Ох, верно. И правильно сделали, ребята, что сюда пришли.

Куда ж вам, как не сюда...

Он встал из-за стола и заходил взад-вперед по узкому проходу вдоль стола, одной рукой держа себя сзади под пиджаком за брючный ремень, а другой – с оттопыренным большим пальцем – тыкая вперед, словно для незримого рукопожатия, сильно наклоняя при этом туловище вперед. Иван вспомнил виденную когда-то дээспэшную брошюру, называвшуюся «Партай-чи», где был описан целый комплекс движений, благодаря которым человек даже самых острых умственных способностей мог настроить себя на безошибочное проведение линии партии. Упражнение, которое выполнял Копченев, было оттуда.

– Да... – сказал он, вдруг остановившись.

Иван поглядел на него и поразился – глаза Копченева изменились и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как-то по-другому дышал, и его голос стал на октаву ниже.

– Чего сказать-то вам, – медленно произнес он и вдруг с каким-то горьким пониманием затряс головой. – Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам вдали. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем – и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому, что правду нам сказали. Теперь так спрощу – должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.

– Вроде должны, – сказал Валерка. – Конечно.

– Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы, хотим, чтоб им эту новую правду сказали, как нам нынче?

– Хотим, чего спрашивать-то, – зашумели за столом. – Ты дело говори!

– А дело самое простое. Руководство-то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.

Копченев о чем-то на секунду задумался и подобрел лицом.

– А вообще, – сказал он, – если сказать, черт возьми, по-человечески – до чего же хочется жить!

Видно, он нажал на какую-то кнопку – тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа пионеров и плотно-плотно обступила Валерку, Ивана и химиков. Пионеры были в отглаженных белых рубашках с галстуками и пахли леденцами и крахмалом, отчего у Ивана в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже – по выветрившейся памяти.

– В музей славы их, – сказал Копченев.

– Пошли, – скомандовал один из пионеров, и красногалстучный поток в две секунды смыл и Ивана с Валеркой, и химиков с пола копченевского кабинета.

Дальнейшее Иван помнил весьма смутно. От музея славы у него остались только обрывки воспоминаний – сначала их всех подвели к совсем маленькой стеклянной витрине, за которой хранились первые документы народной власти в Уран-Баторе (тогда называвшемся как-то по-другому) – «Декрет о земле», «Декрет о небе» и исторический «Приказ № 1»

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)